Кристоф Марталер привез на Чеховский фестиваль «Прекрасную мельничиху» Франца Шуберта

Немосковский хор

Если вы не знаете Кристофа Марталера, вы вообще мало что знаете про современный европейский театр, ибо именно Марталер — его воплощение и квинтэссенция. Его осторожный апостол и его негромкий пророк. Впрочем, эти возвышенные слова идут остроумному и ироничному швейцарцу еврейского происхождения не больше, чем слово «постановка» его театральным опусам. Он не ставит свои спектакли, он их сочиняет. Он ничего не декларирует, он лишь творит на сцене свой безумный, безумный, с катушек съехавший и словно в летаргии забывшийся мир. Одно из его сочинений только что показали в Москве.

Известия 2003-8 июля - с. 10.

Марина ДАВЫДОВА

Марталера привозили к нам уже дважды. В Петербурге, где хит режиссера «Убей европейца...» был сыгран в рамках фестиваля «Балтийский дом», до конца представления досидело ползала. Финал «Трех сестер», показанных в конце 90-х на Чеховском фестивале, увидело и того меньше. Циклопический зал Театра армии, в котором демонстрировалась «Прекрасная мельничиха», с самого начала зиял проплешинами, а некоторые граждане, как водится, покинули представление через двадцать минут, возмущенно бормоча что-то под нос. Зато те, кто досидел до конца, устроили подлинную овацию. Ценителей современного европейского театра у нас по-прежнему немного, но они — спасибо Чеховскому фестивалю — уже есть.

Недовольство граждан можно понять. Великие экспериментаторы давно разрушили в деконструктивистском раже самые существенные составляющие драматического действия — текст, характеры, взаимоотношения героев. Но Марталер покусился на святая святых — он уничтожил Событие. Раз, два, три — ничего не произошло. Этот минус-прием гениальный швейцарец научился использовать виртуозно. В «Убей европейца...» на заднике висят часы с застывшими стрелками, а рядом надпись (дословная

цитата из какой-то немецкой рекламы): «Чтобы время не остановилось». Оно остановилось, и плохо закрепленные буквы то и дело отваливаются от стены и со стуком падают на пол.

Самый нелепый вопрос, который можно задать Марталеру: сколько лет вашим героям? Московская театральная общественность все никак не могла смириться с тем, что Маше в «Трех сестрах» на вид — семьдесят, не меньше. На самом деле у нее, как и у прочих персонажей, возраста нет вовсе. Они все погружены в безвременье. Им семьдесят и двадцать пять. Они живы и умерли. Все случилось в прошлом и опять с неотвратимостью повторяется нынче. Повторяемость вообще главная фишка Марталера. Из его монотонной цикличности невозможно выпрыгнуть. Тут за каждой кульминацией следует спад, но ни за одной не наступит развязка. Тут все обыденное забавно, а все забавное обыденно. Тут гротеск и балаганное шутовство оборачиваются вдруг безысходной тоской, а каждый сценический гэз кажется откровением.

«Прекрасная мельничиха» сделана по классическим марталеровским лекалам. Двенадцать человек, погруженных в метафизическую спячку, поочередно просыпаются и в сомнамбулическом припадке начинают совершать некие ритуальные действия. Один, приплясывая, ведет диспут с чучелом

«Прекрасная мельничиха» в постановке Кристофа Марталера — божественная невнятица

фазана, двое, образовавшие из своих тел какого-то Тянитолкая, то куда-то ползут, как огромное насекомое, то падают с подоконника, как Шалтай-Болтай. Мельник (условный, конечно, мельник — поди разбери, кто тут на самом деле кто) спит, накрывшись с головой в огромной двуспальной кровати. Потом открывает глаза и, нечесаный-немытый, начинает проникновенно петь. Некто, сидящий за роялем, все пишет и отправляет письма, бросая их в узкую щель двери, за которой находится какая-то безразмерная кладовка. Лишь молодая кокетка в люминесцентном платье строгого покроя пытается держать себя в рамках приличия, но и она падает вдруг на пол и,

дергая пухлыми ногами, бьется в дурашливом припадке. Потрясающее пространство, созданное неутомимо талантливой соратницей Марталера Анной Фиброк, совмещает в себе разом обшарпанный концертный зал и квартиры с ободранными обоями и остатками мебели. Так выглядит дом, идущий под снос, у которого уже разрушили фасад и обнажили вдруг всю его разномастную начинку.

Все эти люди — странноватые, неприкаянные, нелепо одетые, вытесненные на обочину жизни, как-то по-советски несчастные — поют Шуберта. Поют как могут — то ничего, то фальцетом, то фальшиво. И проще всего расценить их пение как глумление над великим композито-

ром, а вместе с ним и надо всей европейской культурой. На самом деле все не так. Для героев спектакля уж точно не так. Для них это попытка — отчаянная и неудачная — выпрыгнуть за пределы жалкого существования. Возвыситься и воспарить. Прильнуть душой к этой самой культуре. Русскому зрителю тут на память невольно приходит друтой спектакль — «Московский хор» Льва Додина о жалком, сумасшедшем и смешном коммунальном террариуме времен ранней оттепели (а чем не коммуналка придуманное Фиброк пространство, в котором, как и в «Московском хоре», все живут — спят, страдают, пишут письма — на виду у всех?). Два этих спектакля одновременно переключи-

каются и противостоят друг другу. Они — близнецы-антагонисты. Посмотрев их один за другим, можно многое понять про то, что нас объединяет и что разъединяет.

Декорация «Московского хора» (многоярусное сооружение из кроватей, шкафов, столов, по которому герои ползают вверх и вниз) — это теснота, опрокинутая в вертикаль, людской муравейник в пределах одной отдельно взятой квартиры. Здесь, на мебельных ярусах, приютились жители террариума, здесь же происходят репетиции самодеятельного хора, этими самыми жителями и укомплектованного. Драматургическое многоголосие обрачивается многоголосием Баха и Перголези. Речевая невнятица — божественной музыкой. Души героев стремятся к прекрасному и не могут вырваться из темницы советского бытия. Или вообще бытия. Это уж кому как угодно. Это очень похоже на Марталера. Но это не Марталер.

Додин, как и все русские режиссеры его поколения, не в состоянии погрузить своих неприкаянных героев в безвременье, ибо время для него не абстрактная категория. Он сам его часть. Сам из его плоти и крови. Оно то и дело стучит в его сердце. Оно прожито, но не изжито. Швейцарский режиссер — не раб и не заложник времени, он — его повелитель. Из-за заальпийского далеко он бросает лукавый и сторонний взгляд на своих персонажей. Он ведь точно знает, что все происходящее с ними уже случилось не раз и еще не раз случится, что вся их нелепая жизнь — лишь слепок с миллиона других нелепых жизней. Но в финале, когда все двенадцать героев его шубертиады вдруг начинают тихо и проникновенно петь Баха — я лично чувствую то же, что и на спектакле Додина: земную горечь и неземной восторг. И я не спрашиваю, о ком они поют, — они поют обо мне.